

ТРИ ПОЦЕЛУЯ

Автор: Л. А. АННИНСКИЙ

(По ходу дискуссии о "диалогизме в науке и обществе")

Какое, собственно, у меня право высказываться о проблемах, раскрытых в статьях фундаментально подкованных специалистов? Что могу я пискнуть об адвокативности, парадигмальности и прочих мегарисках инвайронментальной сферы, когда я и слова-то эти слышу чуть не впервые? Разве что воздушные поцелуи послать на волне интуиции?

Воздушный поцелуй истине

Вот что врезается в сознание и даже подкашивает его:

"Оказалось, что "истин" может быть несколько".

И впрямь "оказалось". Раньше-то думали: *истина* - одна, а путей к *ней* - много, поэтому у людей много *правд*; у каждого своя, и каждая такая "своя правда" может быть только относительной, абсолютная же - единая для *всех* - недостижима. Она - одна.

Теперь их несколько.

Почему "несколько"? Тогда уж скажите: много. И - доводя допущение до конца - бесконечно много.

Но зачем нам "бесконечно много", когда практически мы упираемся в две-три (по С. Хантингтону - семь-восемь), то есть именно в "несколько"?

"Классическая объектная рациональность... перестает быть единственной формой рационального сознания".

То есть: если дважды два при любых обстоятельствах четыре, то и рациональность должна быть одна, а вокруг нее - сколько угодно иррациональностей. Если же формой рациональности становится иррациональность, то дважды два может равняться чему угодно, но тогда и само понятие рациональности, так сказать, преодолевается.

Оно вроде бы уже с XVII в. под вопросом... Теперь же, в начале XXI в., попробуйте столкнуться по части истины с парнем в зеленой повязке, который только что успешно устроил теракт и с экрана телевизора рассказывает миллионам людей (еще под его теракт не попавшим), что он не террорист, а диверсант, и как диверсант имеет право на боевые действия.

Прочитайте ему И. Канта: мирный договор при сохранении предпосылок войны бессмыслен - и он, диверсант, обеими руками подпишется по этим, потому что для него

См. "Общественные науки и современность". 2004. NN 1 - 6, а также 2005. NN 4, 6.

А н н и н с к и й Лев Александрович - литературный критик.

реально именно состояние войны, а чтобы "подписать под этим", ему надо куда-то положить на время автомат Калашникова, с которым он не расстается.

Поневоле воззовешь к мирному диалогу: вдруг получится?

Не потому ли интеллектуальная элита и отправилась в поход за диалогичностью, что практически уперлась в этого диверсанта, никак диалогичности не признающего? И не потому, что он, диверсант, плох там или хорош, а потому, что жизненная установка его иная, чем мы привыкли: для нас человеческая жизнь есть ценность абсолютная, а для него - весьма относительная. В том числе и его собственная жизнь. Он нам еще и докажет, что толерантность мы ему навязываем с целью его расслабить.

Никакого царства диалогичности я впереди не вижу. Будет царство силы, промеряемой расчетом. Борьба, кровь, гибель.

"Мир творится людьми".

Это теперь выяснилось? А люди - не часть природы, чем-то (Кем-то?) созданная? А разве законы этой природы человеческим помыслам не предшествуют? А если законы природы освоить... но это так раньше думали.

Теперь - ничего подобного. Мировая практика говорит другое: человек непредсказуем, законы ему не писаны, переделать его невозможно, а можно только на время умиротворить. По этой одежке и протягивать ножки, иначе протянешь ноги.

Но если переделать человека невозможно, - что с ним делать?

А вот: не давать другому человеку оценок, не попрекать его ошибками, стараться понять его доводы, войти в его положение, почаще ставить себя на его место, избегать "пороков полемики" - сарказма, эмоционального форсажа, насмешливости...

То есть: не хамить.

Применительно к "мирному времени", а особенно к нашей русской ментальности, запредельной, от века презирающей правила хорошего тона, - увещевание это полезно (я беру его из статьи А. Пригожина).

Но представьте себе время военное, ну, скажем, 1941 г., и статьи И. Эренбурга, с его испепеляющим сарказмом, эмоциональным форсажем, убийственной насмешливостью... вы ему что, тоже посоветовали бы умерить пыл?

Ему и посоветовали. В 1945-м: "Товарищ Эренбург упрощает". Он умерил. И понятно: мирное время - не военное время.

Так вопрос в том, какое теперь время.

Ясно, какое: переходное.

От чего к чему переходное?

Будем надеяться, что от войны (слава богу, не горячей и не холодной) к миру (дай бог, длительному).

Если так, будем учиться диалогу. Диалогу, а не спору.

"Ни в коем случае не следует спорить".

Вот уж не подозревал, что услышу такое. Мы-то в молодые годы только на спор и уповали. У меня в 1960-е гг. даже статья была опубликована: "Спор есть норма". Смысл ее ясен, если вспомнить, ответом на что была такая "норма". Нам-то внушали, что спорить об основополагающих вещах нельзя, что норма установлена основоположниками навсегда и незыблемо, что есть нормы, которые обсуждать нечего. Для нас, молодых, спор был *отдушиной*, в которую мы просовывались, чтобы дышать...

Теперь я думаю, что тогдашняя наша страсть к спорам - не более чем реакция на запрет. Теперь, когда нет ни цензуры, ни норм, ни основоположников, - спорь, сколько влезет: так не лезет оно в меня! Спор не рождает истину, он выявляет препятствия на пути к ней. А истину рождает (вернее, приближает) тихое размышление после спора наедине с самим собой. Это и есть душевная практика.

К вопросу о практике. У Пригожина - замечательно точное наблюдение: чувствуя опасность противостояний (споров), мы изо всех сил приветствуем диалогичность, но - "на доктринальном уровне", в полном отрыве "от человеческой практики". Это наблюдение Пригожина заставило меня оглянуться на мою многолетнюю практику, то есть на занятия литературной критикой, каковой я отдался с младых ногтей, и с младых же ног-

тей меня преследовало смутно-интуитивное ощущение несправедности этой практики, а теперь, кажется, обрело почву.

Если мне будет позволен такой экскурс, я объясню.

Воздушный поцелуй литературной критике

Пригожий различает три способа словесного взаимодействия оппонентов:

"Полемика - борьба до победы одного над другим. Из двух сторон одна берет верх, другая "падает". Тут не выясняется истина, даже не интересно само мнение противника. Главное - нанести ему ущерба больше, чем он тебе.

Дискуссия - подразумевает заинтересованность оппонентов в привлечении противника в споре на свою сторону, стремление убедить в своей правоте. Для этого, конечно, надо приводить доводы сильнее, доказательнее и ярче тех, что выдвигает другой.

Диалог - означает обмен знаниями, ценностями, переживаниями. Тут каждый прав по-своему, и участники стремятся понять друг друга..."

Нетрудно вспомнить, какое именно взаимодействие было в ходу, когда я в возрасте, который католики называют конфирмационным (а по-нашему - это отрочество), почувствовал тягу к литературной критике.

В школе под диктовку словесника (который вскоре стал моим любимым учителем и остался таковым в памяти по сей день) я записал четверостишие одного знаменитого поэта из "шестидесятников" (из тогдашних, XIX в. "шестидесятников", а не из тех, коими по аналогии маркировали мое поколение в XX в.).

Стихотворение называлось "Вы и мы":

Вы - отжившие прошлого тени,
Мы - душою в грядущем живем.
Вы - боитесь предсмертных видений,
Новой жизни рассвета - мы ждем.

Не то чтобы стихи мне сильно понравились, но учитель сказал, что без понимания этой борьбы, без чувства этого раскола на "наших" и "ваших" великую русскую литературу не понять. И он был прав.

Так что же это за ситуация по пригожинской схеме? Диалог? Да за такой термин мне в мои отроческие времена тотчас навесили бы оппортунизм и пособничество. Дискуссия?.. Вряд ли. Разве что перетащить на свою сторону колеблющихся, включить в свои ряды. Полемика? Она самая. Насмерть!

Меня не тянуло в такую полемику. Меня тянуло в литературную критику. И потянуло еще до того, как учитель словесности продиктовал нам дислокацию: "мы"-они". Я думаю (вспоминая дела шестидесятилетней давности), меня изначально облучил В. Белинский, статьи которого читал по радио артист А. Консовский. Время было послевоенное, отцы перебиты, библиотеки разорены, и, конечно, ни одной строки Белинского я еще воочию не видел. Но была - с военного времени - привычка не выключать радио, и из "черной тарелки" неслись колдующие периоды статей о Пушкине, на волнах которых я уносился в такую непонятно-мечтаемую даль, какой не открывала даже музыка.

Потом, через пару лет, прочтя неистового Виссариона более трезвыми глазами, я почувствовал - кроме все того же околдовывающего одушевления - какую-то ранящую запальчивость. Словно и впрямь все сводится к вопросу: кто теперь *первый писатель на Руси*? Это рациональное числительное сочеталось почему-то не с "Россией", не с "русской литературой", а с артистично падучим "на Руси".

У Белинского это царпало, у Н. Чернышевского стало коробить. И тем более у Н. Добролюбова с его лучом света в темном царстве. Эти двое были преподаны мне как идеальные герои реальной критики. Непримируемость обрела четкость юридической доктрины: критик анализирует произведение писателя с точки зрения действительности, оценивает его и выносит приговор.

Кому? Писателю? Действительности?

Да, и ему, и ей, и вообще всему и всем.

Уже в университете, решившись следовать заветам предтеч, я гнал от себя сомнения. А они закрадывались: да кто я такой, чтобы выносить приговоры? Какое у меня право судить того же писателя? Почему я должен считать себя умнее его?

Встречный вопрос: а тогда какого лешего ты лезешь заниматься литературной критикой?

Какого лешего - это я помаленьку про себя решил. По складу способностей я воспринимал реальность только в ее логичных формах, а если в безумных, то безумие ж потому и безумие, что отсчитывается от разума. Лучше всего я прочитывал реальность, когда она уже кем-то освоена, переведена в осознанность: в краски на полотне, в роли актерской игры, в ритмы киносьемки, а лучше всего - в текст. В художественный текст, как и было велено по программе.

Художественный текст кто анализирует? Критик.

Как при этом избежать роли оценщика-бичевателя, которой учили Чернышевский и Добролюбов?

На мое счастье нашелся еще и Д. Писарев.

Вандал, посягнувший на Пушкина!

Да вот тут-то и была зарыта собака, покусавшая совсем не тех, на кого была науськана. Оценки, которые Писарев давал Пушкину, его конечные приговоры, были настолько абсурдны, что я их просто игнорировал. Писаревская *игра ума* жила отдельно от оценок, и именно игра эта была упоительна. С Чернышевским и Добролюбовым такое не получалось - они всю силу интеллекта строго употребляли на оценку и приговор, и вырваться из их доктринальной последовательности мне было не по силам. А писаревская мысль гуляла помимо оценок (загодя безумных) и приговоров (окончательно абсурдных).

Он упивался своей манерой мыслить.

Я упивался *его* манерой мыслить.

Как это назвать, я в свои двадцать лет не знал. Теперь, с подсказки Пригожина, знаю: это был *диалог*. Я у Писарева набирался опыта, *его* опыта, который становился *моим* опытом, - притом, что Пушкин оставался в неприкосновенности.

В 1951 г. я закончил университет, устроился в литературные редактора и пустился писать литературно-критические статьи.

Куда их нести? - встал вопрос.

На берегах тогдашнего литературного "болота" (сервильно-ортодоксального, с хорошо просчитанными допусками либеральности) выселись две крепости с четкими, прямо-таки монастырскими уставами: "Новый мир" и "Октябрь", - они вели друг против друга *полемику*, то есть войну на уничтожение.

"Уничтожение" уже не означало, как в 1930-е гг., лишение жизни в застенке или в лагере. Но вышвыривание из литературы оно определенно означало - и во второй половине 1950-х гг., и в первой половине 1960-х. Из "Октября" неслось: пора разоблачить этих скрытых ревизионистов-антисоветчиков, лишить их трибуны! Из "Нового мира" отвечали с издевательской заботливостью: по-то-ро-пи-и-ились вы, уважаемый оппонент, напечатать ваши словесные упражнения, по-то-ро-пи-и-ились...

Дуболомная ярость "октябристов" меня отталкивала, да там и не было интересных мне критиков, кроме, разве, Д. Старикова. "Новомировская" же ядовитость соблазняла, и работали в "Новом мире" критики, которых я считал (и по сей день считаю) своими учителями: А. Синявский, И. Виноградов, Ю. Буртин и позднее И. Дедков.

Но меня поражало, что сверхзадача у тех и этих одна: вышибить из-под противника линотип.

В "Октябрь" я, понятно, не толкался, а в "Новый мир" однажды по приглашению "нижних чинов" отдела критики толкнулся и, дойдя до чинов "верхних", вылетел оттуда с треском и навсегда: "верхние" сразу поняли, что солдата их армии из меня не выйдет, а вольные стрелки были им ни к чему. Так что обосновался я "на болоте", что простиралось между "крепостями", и стал совершенствоваться в эзоповом языке (о чем не пожалел).

Зачем эзопов язык?

Вовсе не ради оппозиции строю, режиму, власти, а ради самосохранения души, когда следует изображать из себя хоть какого-нибудь бойца и выносить с литературного поля ногами вперед рухнувших оппонентов. "Прикидываюсь". "Кокетничаю". "Продаюсь". Делаю вид. Валяю дурака. Делаю вид, будто валяю дурака. Как тут без Эзопа?

По условиям литературно-критической деятельности я должен, например, объяснить писателю (и читателям), хорошо или плохо *это* написано, надо ли *это* читать и, главное, имеет ли право написавший *это* писатель занимать место в литературе.

Я таких объяснений давать не могу и не хочу. Писать хорошо или плохо - дело писателя. Соображать, что хорошо, а что плохо, - дело читателя. И того, и другого тому и другому должны были научить еще в школе. Я тут причем?

А по долгу критика я обязан их учить.

Ну, ладно, я это делаю вскользь, попутно и как бы "нехотя". А для других-то это не вскользь! Этим мне "проедали плешь" всю профессиональную жизнь.

- Старик, я прочел твою статью, и мне захотелось прочесть ту книгу, о которой ты написал!

Ну, сказал бы он: "Старик, я прочел твою статью и захотел прочесть *другие твои статьи!*" А той книгой захотелось врезать ему по башке. Однако придерживался правил цивилизованного диалога.

Воздушный поцелуй оппоненту

В конце концов, на вопросы типа "Старик, я так и не понял из твоей статьи, надо ли мне читать книгу этого писателя?", я насобачился отвечать коротко: "Не надо!". Ибо все то, что мне из "книги этого писателя" *надо*, - я изложил сам. Так, как *надо мне*. Бессмысленно предъявлять претензии: "Старик, а там у него ничего такого нет, что ты в нем высмотрел. Ты ему все навязал".

Правильно. Навязал. Или вычитал. Пусть другой вычитает другое. Пусть навяжет. Было бы что навязывать. То, что извлек из книги я, другой не извлечет, извлечет свое.

- А то, что ты извлекаешь, - ты *из чего* извлекаешь: из книги, которую разбираешь или из воздуха?

Из воздуха. С помощью книги. Есть же такое понятие, как горизонт ожиданий. Книга, о которой я пишу, появляется не в безвоздушном пространстве. Слышу в ответ:

- Да, не в безвоздушном. Но - в литературной ситуации. В которую вписывается или не вписывается.

Это как понимать литературную ситуацию. У Ахматовой спросили: "Анна Андреевна, почему вы, акмеисты, были смолodu так непримиримы к символистам? Неужели столь многое вас с ними разделяло?" Старая сивилла рассмеялась: "Мы место расчищали".

Вот! Если литература - это место, которое расчищают для себя: каждое новое поколение, или новое направление, или новый автор. Тогда литературному критику есть занятие: определять каждый раз - верно ли место. Кто гений, кто талант, кто графоман. "Кто первый поэт на Руси".

И ведь по сей день литературное поле (заполненное уже молодыми критиками) воспринимается ими (и публикой) как ристалище для оценок-приговоров. Особенно в тех бойких гламурных журналах, которые вытеснили с этого поля старомодных "толстяков".

Вот точно замечено участниками дискуссии: когда читаешь сегодня отписки бюрократов, не чувствуешь ни "ортодоксальности", ни "либеральности", зато несет острым запахом интереса. Так и критики современные: они не левые, не правые, они пропахшие лоббированием - сразу ясно, кто кому свой, кто чужой.

Приговор чужому:

- Я его не мог дочитать: ску-учно.

Ну, если не дочитал, если скучно, - вот и поскучай сам, зачем тянешь нас в свою скуку? Я вообще не могу понять, как может быть скучно в профессиональной работе. Если я о ком-то пишу, он *уже* не может быть скучен - он *становится* интересен, поскольку я его осмысляю.

Ну, а если и впрямь плохо написано?

Вообще-то плохо написанный текст так же интересен и так же свидетельствует о жизни, как хорошо написанный. Хорошо написанный - дополнительное удовольствие.

Ну а если настолько плохо написано, что с души воротит?

Ну и не пиши о нем. Молчание! Не надо быть ассенизатором литературного поля, как не надо раздавать писателям награды и давать читателям рекомендации. То есть отношение к литературе не может быть отношением как к чему-то, имеющему ценность вне самой этой литературы (так что оценки должны эту ценность регулировать), а может быть отношением лишь как к самоценной жизненной реальности. Сам факт общения (то есть тот факт, что я читаю какого-то автора, думаю о нем и пишу) есть уже исчерпание вопроса об оценке.

- Значит, тебе все равно, о ком и о чем писать?

- Все равно. Прочитанное приобретает значимость по мере осмысления.

- Значит, ты врешь, когда добавляешь плохо написанному тексту значимости?

- Вру. Но не лгу. Все эти оценки: плохо написано, хорошо написано - присутствуют у меня интонационно. Дурак не поймет, умный промолчит.

- А самого себя ты воображаешь умным?

- Отнюдь. Чтобы показаться умным, достаточно быть дураком в другом, чем ожидают, роде. Это кто-то из знаменитых критиков-эмигрантов сказал, кажется, Георгий Адамович.

- Что же легче: притворяться дураком или притворяться умным?

- Без разницы. И там и тут - "роль". Человек, публикующий свое сочинение, уже выступает на сцену и претендует на внимание. Я выступаю следом, но в своей роли. Это диалог ролей...

- Но кто-то же должен в этом соревновании победить?

- Никто не должен. Побеждали во времена Чернышевского и Вл. Ермакова. На чем и стояла от века литературная критика...

Такие диалоги долго крутились вокруг меня, когда я пытался печататься в литературных журналах. Наконец, чаша переполнилась: мне ответили, что я пишу "не о тех" писателях, и предложили заняться чем-то более значительным.

Я тихо отполз от литературной критики, благо были еще и кино, и театр, и история... Но, как говорится, от судьбы не уйти: на закате перестройки, когда народ перестал читать толстые журналы (а уж критику журнальную первым делом кинул), и тексты стали приходиться к читателям в виде книг, возникла нужда в предисловиях.

Тут я воспрянул. Чем хорошо предисловие? Никто не спрашивает, рекомендую ли я текст читателю, - вот он, текст, под той же обложкой, хочешь - читай, не хочешь - брось. Никто не требует оценки - она в самом факте моей статьи. И никто не подходит с претензиями: не о том пишешь. О ком хочешь, о том и пишу...

Впрочем, и тут логика расчищаемого места до меня добралась. Как-то написал я предисловие к одному весьма интересному роману. Звонит издатель: а вы не будете возражать, если фрагмент из вашего предисловия мы поместим на задней обложке? Пожалуйста, помещайте.

Получаю книжку, смотрю на заднюю обложку и глазам не верю: слова мои, а в целом - какая-то сладкая каша. Составил издатель коллаж из моих вежливых обмолвок о талантливости автора. Мне это было не очень важно, но требовалось по ходу дела для смягчения некоторых острых мест анализа. А тут... я почувствовал, как издатель мучился, просеивая мой текст и выискивая - что? То самое, от чего я бежал: оценки! Будто я автора "хваляю". Будто я его "рекомендую". Реклама нужна! Двигатель торговли.

Итак, я не даю оценок, не выдвигаю обвинений, не бросаю упреков автору. Я пропускаю его текст через *свою* душу, его душевное состояние становится *моим*, я не говорю

"он не понимает", я говорю: "это непонятно", "это *нам с ним* непонятно", "это *в нашей с ним реальности* непонятно". Я даже не выделяю специально наши с ним точки совпадения - это у нас не точки, а объемы, и совпадают они - изначально, фактом интереса.

А если реальность абсурдна или ложна, то и отвечаем мы за нее вместе; дело ведь не в том, что он "не то" или "не так" написал, дело в том, что написанное им (и встречно прочувствованное мной) есть продолжение реальности, нас с ним породившей.

Поэтому все "пороки полемики" с абсурдом и ложью этой реальности относятся столько же ко мне, сколько и к нему.

Тут я с удивлением и радостью осознаю, что "парадоксальный" стиль критики, который я вслепую и наощупь выработывал всю свою профессиональную жизнь и из-за которого вечно ходил в чудаках, дураках и т.п., - стиль этот целиком укладывается в те новейшие правила интеллектуального общения, что излагает Пригожий в статье "Диалогические решения".

Dixi.

Впрочем, маленькое дополнение. В. Бондаренко, мой коллега по критическому цеху, недавно со смехом заметил, что писатели, довольные тем, что я разобрался с их текстами в той толерантной манере, когда ужас и абсурд бытия не сваливаются на голову оппонента, а трактуются как наша общая боль, - писатели эти после нашего диалога "улыбаются отрубленными головами".

О, да. Я и сам, читая иной раз о себе, чувствую, как голову мою весело отделяют от тела... И улыбаясь этой косметической операции, посылаю такому оппоненту искренний воздушный поцелуй.